



ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ: ПЕЧАТЬ ДОЛГОПЯТОВА

АЛЕКСАНДР КОПЮЧИЙ

Александр (Колючий)
Зона Отчуждения:
Печать Долгопятова

<https://litres.ru/74446783>

SelfPub; 2026

Аннотация

Разведка среднего пояса Зоны приводит Юрия к разрушенным цехам, где скрываются экспериментальные твари лаборатории, а найденные там документы с именем Тихона Гнилова и печатью барона Долгопятова превращают его из случайно выжившего каторжника в живую угрозу для всего Департамента Реакторного Надзора.

Содержание

Глава 1. Второе клеймо	4
Глава 2. Тени в цехах	18
Глава 3. Тишина, которая лжёт	31
Глава 4. Второе дыхание	44
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Александр (Колючий)

Зона Отчуждения:

Печать Долгопятова

Глава 1. Второе клеймо

Игнат зажѣг огарок в жестянке и поставил её мертвецу у головы, на дверное полотно. Огонёк лёг вбок, потом выправился.

Я опустилсЯ на колено. С первого раза не вышло: голень не пустила, и я сел на бедро, как садился на осыпи, и уже оттуда подобрал колено под себя. Дверь под ним качнулась на бочке.

Клеймо было выше сердца на два пальца. Ободок ровный, без разрыва. Буквы внутри стояли тесно. Я начал считать слева и на четвёртой сбился: она ушла в складку кожи. Кожа по краю оттиска свернулась валиком и побелела.

Валик я тронул пальцем, и тронул левой — правая пальцами не жмёт третий день.

Край крошился сухо, крупной из-под ногтя, без сукровицы. Точно так же он крошился у того, в литейном. Я тогда тоже трогал, и тоже левой, и вытер палец о штанину, и вот теперь вытер о штанину опять.

Второе клеймо за неделю. Люди разные, банды разные, а края крошатся одинаково.

— Ерофей, — сказал Тимофей от бочек. — Ты соль-то нашёл или нет?

— Соли нет, — сказал Ерофей. — Крупа есть, полторы горсти, и она с землёй. Я её выбираю.

— Выбирай. Только в мешок потом не сыпь.

— Я и выбираю на тряпку.

Ко мне подошёл Тимофей и встал рядом, с топором в руке. Топор он о доску обтёр наспех, и с зазубрины книзу шло тёмное, ещё не подсохшее по кромке. Он этого не видел, потому что держал топор у колена, а глядел на дверь.

— Ты его на колонне помнишь? — сказал я.

— Помню. Он за носильщиками шёл. Второй справа.

— Он у Векшина был?

— У Векшина. — Тимофей помолчал. — Юрий Аркадьевич, а ведь тот, из цеха, был не Векшина.

— Не Векшина.

— Тот был вообще ничей. Он там лежал раньше, чем Векшин на эту гряду пришёл. — Он переложил топор в левую и потёр большим пальцем о ладонь. Пальцы у него после ожога враспырку, в горсть не идут. — Значит, метят не по банде. Метят кого попало — кто под руку попался в этой стороне.

— Так выходит.

— Если мстят — то знаешь кому и знаешь, когда перестанут.

— Слышу.

— Я вслух говорю, чтоб ты за мной пересчитал. — Он поглядел на бочки. — Ерофей, ты доску под крупу с земли не бери, там мокро. Возьми ту, что у кладки.

— Та под ружьями.

— Ружья сдвинь.

Сапоги у мертвеца были подшиты дратвой, и подшиты не в шаг: с одной стороны стежки мелкие, с другой через палец, будто дошивал уже второй человек и торопился. Ноготь на большом пальце левой руки был чёрный, старый, сходил.

И тут внутри повернулось.

И оттуда сказали то же, что говорили при Игнате, слово в слово, ровно, без насмешки, которую я привык ждать:

— Это не мутация. Это чья-то работа. Таких будет больше.

Я не двигался.

— Ищи, откуда метят, — сказали внутри. — А не кого.

— Кто метит, — сказал я. Вслух не сказал, а сказал внутрь, как говорил у линзы. — Откуда — это где? Назови.

Ничего.

Пульс я стал считать под перевязью и на пятом ударе потребовал, чтобы ответили. Пульс шёл, перевязь была холодная, борозда под ней третий день мокла и теперь не грелась.

Ничего. Захлопнуто, как после первого раза, когда я двое суток спрашивал в пустое.

— Ты у него что-нибудь берёшь? — спросил Игнат.

Он стоял с той стороны двери, на прямой ноге, и держался за бочку.

— Взял. Ночью взял, с рубахи.

— Я не про тряпку. Я про то, что ты сейчас губами шевелил.

— Ничего не беру.

— Ну ничего и ничего. — Игнат помолчал. — Юрий Аркадьевич, его закапывать-то надо. Он тут до утра пролежит, и к нему кто-нибудь придёт. Не человек.

— Утром.

— Утром — это ты решил или ты так сказал?

— Утром, — сказал я и стал вставать, и встал со второго этажа, взявшись левой за верхний угол двери.

От бочек Ерофей сказал, ни к кому:

— Крупа с песком. Я её промою, когда воду дадут.

Тимофей повернулся к нему всем телом:

— Воду не дам. Вода на промывку.

— Тогда так сварю. Кто разжует, тот и съест.

— Свари.

Копали, как рассвело.

Место выбрали у частокола, шагах в шести от кладки, где земля после дождей ещё держала воду и лопата шла. Дальше, к канаве, начинался щебень, и там я не стал бы и пробовать.

Лопат было две. Одна с обрубленным черенком — та самая, из подсобки, я её носил ещё в первую неделю. Вторая нашлась у Сивооковых, целая, полотно широкое, в двух ме-

стах склёпанное.

— Клёпка не заводская, — сказал Тимофей, повертев её.

— Ефим ставил, — сказал Ерофей. — У нас Ефим всё клепал.

— Который Ефим?

— Тот, что в канаве.

Больше Тимофей ничего не спросил и стал копать. Копал он с левой ноги, потому что правая не сгибается, и через каждые три-четыре штыка разворачивался всем корпусом, чтобы выбросить землю в сторону. Земля летела на одно место, куча ползла обратно в яму, и он подгрёбал её сапогом.

Мне досталась та, с обрубленным черенком, и с ней вышло хуже. Правой держать не мог: пальцы не жмут четвёртый день.левой на коротком черенке не наляжешь, и я налегал коленом. На третьем штыке в голени отдало, я переставил ногу и дальше копал с остановками.

Глубоко не вышло. Вышло в полтора штыка, может, чуть больше, и на дне пошла глина с камнем, и Тимофей сказал:

— Хватит. Глубже до полудня будем сидеть, а мне частокол править.

— Хватит.

Прохора несли трое: Тимофей, Кузьма и один из Сивоковых, длинный, я не знал, как его звать. Кузьма нёс правой, левая была притянута к боку через телогрейку, и он шёл боком, приставляя ногу. Холстина держалась плохо — её и было-то одни остатки, — и на середине двора она отошла у

ног, и стало видно сапог. Длинный поправил на ходу, локтем, и холстина отошла снова.

Аглая шла позади и несла лоскуты. Она их сложила стопкой, ровно, и прижимала к груди обеими руками. Лоскутов было четыре. Ночью она сняла с плеча Прохора ту тряпицу, которой сама же его перевязывала вечером, — потому что тряпица целая, а живых у нас пятеро с ранами, — и с тех пор не выпускала её из рук. На нём под холстиной не осталось ни витка. Я это знал и посмотрел ещё раз.

Опускали за концы холстины, и на последних полшага она у них поехала, и он ушёл на дно сам.

Все стояли.

Я стоял у края, и говорить было мне.

— Прохор Никитич Кулебякин, — сказал я. — Турбинный, вторая смена. Он вынес меня из цеха... нет. Я его выносил.

Кто-то у бочек переставил ногу.

— Он стоял в дозоре, когда его никто не заставлял, — сказал я. — Он держал доску и стрелял два раза, и оба раза попал.

Я хотел сказать дальше про то, как он не выпустил нож, и вместо этого у меня пошло другое, само, тем голосом, каким читают по бумаге:

— Со скорбью душевною провожаем прах верного...

И тут я услышал себя.

Так у нас в Воронцовке говорили над своими, в церкви,

при свечах, и говорил это человек в лиловом, и мать держала меня за плечо, чтобы я не оборачивался. Я это слышал четыре раза.

Здесь были доски, глина, бочки и одиннадцать чужих людей, и чужая лопата лежала у ямы полотном вверх.

Я замолчал на середине и молчал долго. Не мог придумать ни одного слова, которое сюда встанет, и в голове вместо слов крутилось, что глубже надо было хоть на штык, потому что придёт не человек.

Тимофей нагнулся, набрал земли правой горстью и бросил вниз.

Земля глухо упала на холстину, и он отступил, и вытер руку об штанину, о бедро, туда и обратно.

— Ну, — сказал он. — Прохор Никитич.

После него стал Кузьма. Нагибаться ему нельзя, он присел на правое колено и кинул горстью с правой, а полоску свою сушёную держал в это время за щекой и не жевал.

Игнат бросил, стоя на прямой ноге, и качнулся, и придерживался за Сенькино плечо.

Сенька бросил двумя руками — не понял, как надо было.

Сивоок стоял чуть позади своих. Он снял шапку.

Снял он её не тогда, когда бросил Тимофей, и не тогда, когда я замолчал, а после Сеньки — сдёрнул рывком, будто вспомнил, и не знал, куда её потом деть, и сунул под левую руку, и переложил в правую.

Кузьма посмотрел на него сбоку и ничего не сказал, и Иг-

нат тоже ничего не сказал.

Его люди сняли шапки за ним.

— У нас так не делали, — сказал Ерофей негромко, сам себе.

— Теперь делают, — сказал Сивоок.

В барак я позвал шестерых. Огарок Аглая поставила на банку, банку на кирпич, и света хватало только на полстола. Стол у нас на трёх ножках, четвёртый угол лежит на кирпиче: налягут локтем — огонёк качает.

— Сядьте кто-нибудь на тот край, — сказал Тимофей. — А то он гуляет.

Сел Ерофей, а Сивоок остался стоять, и шапку он так и держал в руке.

— Одиннадцать твоих на ногах, — сказал я. — Развожу по постам вместе с нашими. Не кучей.

— Кучей проще, — сказал Сивоок.

— Проще. — Я взял со стола гнутый гвоздь и стал медленно крутить его в левой. — Ставлю не кучей. Западный — твой человек и Кузьма. Восточный — твой и Сенька. Боковая щель — твой и Игнат Петрович, пока он на ноге. Помост — двое твоих и я.

— На помосте доска играет, — сказал Тимофей. — Средняя. Я её утром перебью, гвоздей у меня четыре.

— Два, — сказала Аглая. — Два вы вчера в латку забили.

— В латку я забил гнутые.

— Значит, четыре.

— Я и говорю — четыре.

Сивоок переложил шапку в другую руку.

— Мои привыкли, что я говорю, а они идут, — сказал он.

— Я их так пять месяцев водил, ещё до Векшина. Ты им сейчас скажешь своё, они посмотрят на меня.

— Тогда стой в совете постов, — сказал я. — Тут, у этого стола, со всеми. Разводим вместе, свист один, смена одна.

Он подумал недолго и надел шапку.

— Стою, — сказал он.

— Данила Гаврилыч, — сказал Ерофей от края стола, — а харчи-то как? У нас крупы на утро горсти три, и то с землёй, коза...

— Помолчи.

— Я к тому, что люди в дозоре стоят, а не ели с полудня.

— Крупу я утром пересчитаю, — сказал Тимофей. — Всю, и вашу, и нашу, в одну тряпку. Раздельно я считать не буду, я так со счёта сойду.

— В одну, — сказал Сивоок.

Он повернулся ко мне уже от двери и заговорил медленно.

— В дозор — пускай. В бой я их одних не поставлю. Ни одного. Они сегодня в полдень лезли в нашу щель, а к вечеру у нас на посту. Я не про то, что они плохие, я про то, что руки помнят.

— Мои не лезли, — сказал Сивоок. — Мои встали.

— Шесть встали. Трое лежат в грязи.

Сивоок на это ничего не сказал.

— В пары, — сказал Тимофей. — Первое время. Один наш, один их, и наш с железом. Через неделю посмотрим.

— Так и разводим, — сказал я.

Игнат сидел у стены и тёр шрам на голени через штанину. Потёр, поглядел на дверь и потёр опять.

— Юрий Аркадьевич. Утром в цеха кто пойдёт?

— Пойду я.

— Ты там был два раза, и оба по верху, по завалу. А оба тела нашли внизу — и этот, с двери, и тот, с ватника. Внизу оно всё перемешано, там пролёты сложились друг в друга. Я туда с этой ногой не полезу, я честно говорю: я на третьем провале сяду.

— Кто знает низ?

— Никто из наших. — Игнат повернулся к Сивооку. — Ваши по цехам ходили. Не первый месяц.

— Митяй Косой ходил, — сказал Ерофей. — Он по мелочи брал, крупного не носил. Зато ходы там знает. Он у нас в третий пролёт лазил, когда мы ещё...

— Митяй пойдёт, — сказал Сивоок.

— Он с ним и лазил, — договорил Ерофей.

Аглая сидела на койке и держала на коленях тряпочку с иглами, не разворачивая её. Потом сказала:

— Долг Марфе Петровне.

— Помню, — сказал я.

— Шесть дней она дала с утра после отбития волны. Волну отбили нынче. — Она подождала. — Шести дней не про-

шло. Вы сами Тимофею Игнатьевичу сказали — два, и это считая с нынешнего. Я не знаю, откуда у вас два, но я слышала.

— Два и есть, — сказал Тимофей. — Юрий Аркадьевич считает наперёд, и правильно считает. У неё за просрочку взыскатель приходит с Федюней, я Федюню видел.

— Я его тоже видела. Он мешок нёс.

Пришлось встать и выйти к доске, где лежало всё трофейное. Два дробовика с обрезанными ложами, десять патронов донцами в один ряд, две жестянки пороха — в обеих фунт с четвертью. Одну жестянку я поднял, покачал и вернулся.

— Один дробовик и одна жестянка. Двадцать пять она с этого закроет с лихвой, — сказал я.

— Ружьё отдавать, — сказал Тимофей.

— Отдавать.

— Стволов у нас четыре, станет три. — Он потёр ладонь о ладонь и намотал тряпку плотнее. — Ладно. Ружьё без патронов — палка.

— Кузьма понесёт, — сказал я. — С утра, не в последний день. Пусть идёт налегке и пусть ждёт расписку.

— У него плечо не идёт.

— Правая идёт, он мешок под правую и возьмёт.

Тимофей посидел, кивнул и подбил ногой кирпич под столом, потому что край опять поехал.

Разошлись не сразу. Сивоок ушёл к бочкам, и оттуда ещё долго говорили. Про цеха ни слова: у кого-то из его людей

развалился сапог по шву, и спорили, резать ли второй, чтобы залатать первый. Спорили двое, и один всё повторял своё: «ты его высуши сперва, ты его сперва высуши». Кран за стеной капал, три счёта — капля, и пенька лежала рядом как лежала.

Свист пришёл с западного, когда я уже сидел у стола и вертел в пальцах гнутый гвоздь.

Два коротких.

Я встал и пошёл к западному, ставя ногу боком. Тимофей вышел от пролома, и у помоста мы сошлись, дальше пошли вместе.

Игнат стоял на здоровой ноге, а больную держал на носке, чуть отставив, и на нас не посмотрел.

— Там, — сказал он. — У дальней кромки. Где цеха начинаются.

— Человек?

— Я свистнул два, потому что не зверь. — Он переложил вес и сморщился. — Ты сам говорил: на зверя не свисти. Я и не на зверя.

— Что видел?

— Крупное, тёмное. Оно шло вдоль балок, вон там, где ржавьё грудой, и шло тихо. Юрий Аркадьевич, я тихо не хожу и ты не ходишь. Такое большое и так тихо — это не человек.

— Быстро шло?

— Быстро. Не как собака бежит, а... — Он подумал. —

Как вода в жёлобе. Ровно и быстро.

— Сколько?

— Одно. Я одно видел. За балками не поручусь.

Между кольями был прогал, и я приложился к нему глазом. Ночь стояла с маревом по низу, и дальняя кромка развалин мутнела, как стекло, на которое подышали. Груда балок угадывалась горбом. Больше ничего.

Смотрел я дольше, чем надо было: уже понял, что ничего не разберу, а всё стоял и вглядывался, и в голове зачем-то шло: балки те лежат с осени, я их считал, когда ходил по верху, — семь штук, и восьмая под ними, у неё конец загнут вверх. Восьмую сейчас видно или нет, вот что мне было важно.

И тут внутри, справа от сердца, где заслонка, что-то коротко подобралось.

Так у собаки перестаёт ходить челюсть за миг до рыка.

Глаз от прогала я не убрал.

— Ушло, — сказал Игнат. — Пока вы шли, оно за балки и ушло. Я говорил.

— Ты не говорил.

— Ну, теперь говорю.

— С той стороны балок что?

— Спуск. За ним второй пролёт, который сложился. — Он потёр шрам через штанину. — Юрий Аркадьевич, я ведь мог и не разглядеть. Ночью на мареве как в воде: рябь пошла — и вроде идёт что-то, а это рябь. Я на кордоне так стрелял

в куст три раза, а там куст.

— В куст ты не свистел бы.

— Не свистел бы, — согласился он.

У бочек всё спорили про сапог. Кто-то сказал: «утром решим», и второй ответил, что утром ему в этом сапоге идти.

От кольев Тимофей отошёл, постоял, глядя на западный склон, и обтёр ладонь о ладонь.

— Значит, так, — сказал он. — Утром уже не про клеймо разговор. Утром идём туда, откуда оно к нам само пришло.

Игнат опустил больную ногу на всю подошву и сразу поднял на носок.

Глава 2. Тени в цехах

Рассвело раньше, чем я успел решить, что кому отдам.

Доска лежала там же, на двух кирпичах у частокола, и на ней с ночи лежало всё железо. Я стал разбирать его на две кучи, левой рукой — правая четвертый день не сжималась, ею я только придерживал.

В левую кучу: дробовик с обрезанной ложей, тот, что сняли с Векшина, — на ложе три зарубки поперёк, и я не знал, чьи они и за что. Пять патронов, уложенных донцами к себе. Мешочек с порохом.

В правую: второй дробовик, оба наших ружья и пять патронов, что остались.

— Жестянку целиком не отдам, — сказал Тимофей. Он пришёл, встал над доской и сразу поднял жестянку, покачал её на ладони, как я качал ночью. — Тут фунт с четвертью. Зарядов двадцать пять, если на одно ружьё.

— Уговор был — жестянка.

— Уговор был «дробовик и жестянка пороха», а сколько в жестянке, ты ей не говорил. — Он отсыпал в мешочек, прижав жестянку локтем к животу, потому что горстью ему не взять — пальцы после ожога не сходятся. — Сто грамм. Я на глаз с копей вешу, я тебе и пуд угля на глаз назову.

— Сто, — сказал я.

— Остальное нам.

Мешочек он завязал сам, в две петли, и подал Кузьме.

Кузьма увязывал груз долго. Левая у него была подвязана к боку поверх телогрейки, и он всё делал правой и зубами: подтянул узел, взял мешок за узел, тряхнул, опустил, перевязал заново и тряхнул опять. С третьего раза поднял его к плечу.

— Дважды проверил, — сказал я.

— Я его на себе двое суток понесу. — Он переложил полоску мяса за другую щёку. — У Стрижа один так шёл, а узел развязался, и он полдороги в тряпке нёс.

От бочек подошёл Ерофей.

— Юрий Аркадьевич, я с ним пойду.

— Тебя не звали.

— Так двоим-то безопаснее. Он одной рукой. Если что — он и мешок не подхватит, и от собаки не отмахнётся. — Ерофей поправил пояс под ватником, тронул его ладонью и убрал руку. — А я налегке, я и мешок возьму, если он сядет.

Он оглянулся на Сивоока: тот стоял в шести шагах и говорил своим, кому куда, и на нас не смотрел.

— Данила Гаврилыч, — сказал Ерофей громче. — Я к Балке пойду.

— Иди, — сказал Сивоок, не поворачиваясь. — Пахома тогда на восточный, а Сеньку с ним.

Ерофей ещё раз тронул пояс.

— Крупу я промыл, — сказал он мне. — Воды взял из той, что на промывку не годится, а она годится, если сверху

сливать. Полторы горсти было, стало горсть.

— Иди, — сказал я.

Кузьма пошёл первым, боком, приставляя ногу, и Ерофей за ним.

Второй дробовик Тимофей забрал с доски и стал щёлкать предохранителем. Щёлкнул, поглядел, щёлкнул опять.

— Митяя я в цеха не возьму, — сказал он.

— Сивоок его дал.

— Дал. — Щёлк. — Он к нам в боковую щель ночью лез. За железом. Я его тогда сам к койке проволокой вязал.

— Ходы он знает.

— Ходы знает. — Щёлк. — И знает, где нас узко. Мы вниз пойдём, там пролёты один в другой, и он впереди. Я туда за ним с этой ногой не побегу.

— Кто тогда?

Тимофей положил дробовик и обтёр ладонь о ладонь.

— Сажин. Роман. Длинный такой, он вчера Прохора Никитича в ногах нёс и не отпустил, когда холстина поехала. — Он помолчал. — И он в третий пролёт с Митяем лазил. Ерофей вчера начал про это и осёкся. Я за него договорил: они вдвоём лазили.

За стеной капало через три счёта, как всю ночь. Пенька у крана лежала седьмые сутки.

— Пеньку-то, — сказал я.

— Не сегодня.

Я позвал Сажина. Он подошёл, вытер руки о штаны, и я

поглядел на них: ногти сбиты, на правой ладони поперёк старая мозоль от лома.

— Низ цехов знаешь?

— Знаю до второго провала. Дальше не ходил, там вода.

— Пойдёшь с нами.

Сажин глянул на Сивоока. Тот ставил Пахома на восточный и даже головы не повернул.

— Пойду, — сказал Сажин.

Игнат сидел у кладки и мял голень через штанину.

— Я на третьем провале сяду, — сказал он.

— Сядешь, — сказал я. — Дойдёшь и сядешь. Мне надо, чтоб ты показал, где оно шло.

— Дойду, — сказал Игнат. — Мне бы палку. Только не эту, эту Аглая забрала.

— Возьми у бочек, там обрубок.

Сажин слушал и потирал подбородок большим пальцем. Шрам у него шёл под губой на сторону, старый и белый.

— Ты в третьем пролёте был, — сказал я.

— Был.

— Что там.

Он потёр ещё раз и убрал руку.

— Мы туда за железом ходили, вдвоём, — сказал он. — До третьего пролёта конвейера. Там лента лежит, резина, её резать можно на подошвы, я себе резал, вот. — Он поднял сапог и показал носок. Носок был подшит резиной. — А дальше третьего мы не заходили. Ни разу.

— Почему.

— Данила Гаврилыч не велел. — Сажин подумал. — Нет, врать не буду. Он не велел уже после. А сперва мы сами не пошли.

— Что там.

— Запах, — сказал Сажин. — Тяжёлый. Он не как гниль, я гниль знаю: мы у канавы двух собак месяц не убирали. Гниль в нос бьёт и отпускает. А этот сладкий, стоит ровно, и от него слюна идёт густая.

Из-под моей перевязи третий день пахло так же — сладко, ровно.

— Стоит и стоит, — сказал он. — В третьем пролёте ещё ничего, а тянет снизу, от спуска.

— Ещё что.

— Ещё Афанасий у нас пропал. — Сажин повернулся вполоборота к бочкам, потом обратно. — Он пошёл за третий посмотреть, один. Дурак был, только крепкий. Мы его ждали два часа, потом пошли по нему, а там ни его, ни крови. Юрий Аркадьевич, ты пойми: крови нет вообще. Ни капли, ни мазка по кладке. У нас Ефим в прошлом году от собак ушёл — так там всё было натёкано, я по натёку и шёл.

— Который Ефим, — сказал Тимофей.

— Тот же самый. Который в канаве теперь лежит.

— Ясно.

— Он мне сапог клепал, между прочим. Не сапог, скобу на голенище.

— Крупу считать в одну тряпку, — сказал Тимофей, ни к кому. — Я вчера сказал и сегодня скажу.

Вышли по серому, все вчетвером.

Тропу вёл Игнат — ту, что верхом по завалу. Он её топтал осенью, а теперь шёл на прямой ноге, палкой доставая землю впереди себя, и сел раньше, чем обещал, у литейного.

Литейный стоит остовом. Крыши нет, фермы легли внутрь и торчат наружу через окна, кирпич по низу закопчён на два роста, выше — рыжий. У западного угла, между двумя опорами, я нашёл первое тело неделю назад, и в этом углу до сих пор лежит его ватник — я его не взял, потому что из него был вырезан лоскут.

— Тут, — сказал я Сажину.

Он посмотрел, посопел и ничего не сказал.

Лом я нёс левой, у середины. Правая не держит пятый день, и я перекладывал в неё только на ровном, где не жалко его упустить. За поясом сзади был нож с изолянтной — тот, что Прохор не отдал и что Тимофей вчера не взял. Он так и лежал на кладке с ночи, и я его взял утром, сам, никому не сказав.

Он мне давил в хребет через каждый шаг, и я четыре раза его перекладывал, и на пятый оставил как есть.

— Помост, — сказал Тимофей за спиной. — Среднюю доску я не перебил.

— Вечером.

— Я к тому говорю, чтоб ты за мной проверил.

За литейным пошёл спуск. Балки лежали грудой, восемь штук, и нижняя с загнутым концом.

Собаку мы нашли у самого спуска, там, где кладка расходится и в проём тянет холодом.

Трёхголовая, взрослая, она лежала распластанная на боку, лапы вытянуты в одну сторону, ровно, будто её кто уложил и потянул за задние. Шкура на груди была цела, мясо целое, ни одна голова не тронута.

Разрез шёл по шее сбоку, ниже средней головы, длиной в две ладони, края ровные.

Я присел — со второго раза, на бедро, потом на колено — и посмотрел близко. Шкуру отвернули набок, и она так и держалась, как держится жёсть, если надрезать её ножницами и отогнуть. Ни рванины, ни клочьев. Крови было мало, вся она стояла в ране, а по камню вокруг сухо.

— Собака собаку так не берёт, — сказал Тимофей.

— Не берёт.

— И мясо не взято.

Игнат подошёл, глянул сверху, отвернулся и полез рукой к голени.

Сажин потрогал подбородок и сказал:

— Афанасий тоже целый лежал бы. Если б лежал.

— Он и лежал бы, — сказал Игнат. — Только он не лежит.

— Я и говорю: если б.

Игнат обошёл собаку и остановился в проёме. Проём был в два шага, и по обе стороны стояли опоры — толстые, в об-

хват, с остатками анкеров по низу. Игнат их оглядел и полез за пазуху.

Вытащил моток бечёвки. Она была тонкая, суровая, витков в ней осталось немного, и на одном конце висел колокольчик — козий, с расплюснутым ушком. Выменял он его в Балке, ещё когда ходил туда сам, и говорил тогда, что взял за две щепоти соли, и что баба сперва не отдавала.

— Ты это зачем? — сказал Тимофей.

— Затем, что мы туда пойдём, а обратно — тем же местом.

— Мы обратно верхом пойдём.

— Ты верхом пойдёшь. А я с этой ногой на завал не полезу, я вчера при всех сказал. — Игнат обвязал конец за анкер, низко, у самого камня, и потянул к другой опоре. — Я так первый месяц ходил. У меня тогда бечёвки было три сажени, и я её на ночь по кругу вязал, и спал.

— И помогало?

— Один раз помогло. Три раза звенело зря, ветер.

Второй конец он затянул на высоте ладони от земли, и колокольчик повис у опоры, чуть выше камня. Толкнул его пальцем — звякнуло коротко и глухо.

— Тихий, — сказал Сажин.

— Он мне не в поле нужен.

Дальше пошли по спуску. Спуск был осыпью из битого кирпича, и я ставил ногу боком и придерживался ломом. Голень отдавала на каждый второй шаг, и я считал шаги.

Внизу крыша обвалилась внутрь и легла косо, и свет шёл

через дыры в ней полосами, и в полосах стояла пыль. Под ногами лежал спёкшийся шлак, грудами, чёрный, с блеском по излому. Пахло старой гарью, как в бочке, в которой жгли ветошь.

Сажин шёл последним и один раз остановился.

— Мне к полудню велено назад, — сказал он.

— Помню.

— Я не к тому. Я к тому, что у меня сапог по шву разошёлся, а второй резать они не дали.

— Тимофей Игнатьевич, слышишь.

— Слышу, — сказал Тимофей. — Проволоку дам. Обмотаешь по подошве в три оборота, и до вечера дойдёт.

— Проволока режет.

— Портянку подложи.

— Портянка у меня одна.

Тимофей на это ничего не ответил, потому что встал.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он тихо. — За грудой.

Груда была шагах в двадцати, и за ней шевельнулось.

Оно вышло из-за края шлака и остановилось.

В холку оно было мне по грудь — вдвое выше любой собаки, какую я тут видел. Голова одна. По плечам и по хребту шли пластины, сросшиеся неровно, наплывами, и я не понял, металл это или шкура. По краю одной что-то блестело.

Оно дошло до бечёвки.

Не задело, не переступило, а стало в полушаге, опустило голову к нити, постояло так и отвело морду в сторону.

— Оно её видит, — сказал Игнат мне в плечо. — Оно её видит.

— Молчи.

Оно повело плечом, и на боку, сзади, где шкура была рассечена старым шрамом и стянута белым, стояло клеймо. Ободок. Внутри — птица о двух головах. Тот же оттиск, что на груди у мертвеца с двери, и на лоскуте из литейного, только больше — шрам растянул его вбок.

Оно издало короткий гортанный звук, будто внутри у него один раз провернулось. Помолчало, издало опять, и ещё раз, и промежутки между ними были одинаковые: я просчитал их дважды по своему пульсу, и вышло по пять.

— Это оно нас звало? — сказал Сажин.

— Тихо.

Из глубины цеха ответили. Тот же звук, дальше и глубже, за третьим пролётом, и только один раз.

Тимофей взял топор в правую руку и переложил обратно в левую.

Оно повернуло голову к нам. Я стоял с ломом в левой и глядел ему на морду, потому что смотреть больше было некуда, и ждал, что оно пойдёт. Оно посмотрело на меня, потом ниже, на лом, и подержало так, как смотрит человек, когда прикидывает вес чужого инструмента.

Потом развернулось и ушло за груды тем же местом, каким пришло.

— Сажин, — сказал я. — Ты такое у себя видел?

Он ответил не сразу.

— У нас Афанасий говорил, что видел. Мы смеялись.

— Кто такой Афанасий?

— Ходил у нас впереди. — Сажин потёр шрам на подбородке большим пальцем и договорил: — Осенью не пришёл.

— Здесь?

— Вон там. — Он мотнул головой, не показывая рукой.

— За тем завалом. Мы его три дня искали, потом бросили.

— Идём, — сказал я.

Пошли шагом. Бежать по этому полу нельзя: он весь из битой плиты, плита под ногой качается, а под ней пустота. Сажин повёл левее, вдоль стены, где кладка стоит и есть за что взяться.

— Тут короче, — сказал он. — Только завал огибаем широко. Я в него не полезу.

— Из-за Афанасия?

— Из-за него. — Он помолчал шагов пять. — Там сверху лист лежит, а под листом ничего нет. Мы кричали, он не отзывался.

Вторым шёл Тимофей и щёлкал предохранителем — взад-вперёд, через два шага. Я ему ничего не сказал. Патронов у нас в этом ружье не было ни одного, и он это знал лучше меня, потому что сам их вчера считал вслух на доске.

Игнат отставал. Больную ногу он ставил боком и на каждый третий шаг придерживался за стену, и штанина у него на голени темнела в одном месте.

На повороте я встал.

Я послушал глубину за спиной — тихо — и поднял левую руку, раскрытой ладонью вперёд, к тому пролёту, откуда ответили. И вдохнул, забирая в себя, как забирал тогда во дворе, когда рябь стянулась к середине и пошла ко мне. Тогда во мне что-то поддалось.

Сейчас я стоял с поднятой ладонью и вдыхал пыль. Внутри, справа от сердца, было гладко и глухо. Ничего не подобралось и не повернулось. Я вдохнул второй раз, глубже, и на середине вдоха у меня в голени отдало, и я опустил руку.

Тимофей смотрел на мою ладонь.

— Что?

— Ничего, — сказал я.

— Ты руку зачем поднял?

— Опустит предохранитель. Ты его сотрёшь.

Он щёлкнул ещё раз, уже нарочно, и убрал палец.

Я шёл дальше и думал о том, как это выглядело со стороны: человек с ломом стоит в пустом цехе, тянет ладонь в темноту и дышит. Тогда во дворе оно было в двадцати шагах, и рябь я видел глазами. А это ушло за грудь. Может, поэтому, а может, и не поэтому, я не знаю.

У выхода Сажин присел и сдвинул с прохода обломок кирпичика, зачем — не сказал.

— Игнат Петрович, — сказал Тимофей. — Дай руку.

— Дойду.

— Дай руку, тебе тут через кромку идти.

— Дойду, я говорю.

Мы вышли к пролому в стене, где щебень идёт наружу горбом, и тут оно началось.

Вой пошёл сзади, из цехов. Не один голос. Первый повёл, и на него легли ещё, и легли почти без разнобоя — так на Реакторе вступали насосы, когда их пускали колонной. Долгий, ровный.

Я стоял и считал голоса. Вышло четыре, пересчитал — опять четыре.

— Оно сказала, — проговорил Игнат тихо. — Оно нас видело и сказала.

Сажин не обернулся. Он смотрел вперёд, на открытое, и рука у него лежала на прикладе.

Мы вылезли на щебень, и до частотола оставалось шагов триста, когда вой оборвался.

Не стих — оборвался, все четыре разом, на одном месте, будто одному накрыли рот, а остальным этого хватило.

В ушах он ещё долго стоял.

Глава 3. Тишина, которая лжёт

Из тени последнего цеха Сажин вывел нас не там, где я думал, — правее, вдоль глухой стены, где кладка ещё держится.

— Тут выход чище, — сказал он. — С того угла в прошлом году половина стены легла.

Следом вышел я и встал рядом с ним.

Пустошь лежала до самого частокола. Земля голая, каменистая, местами вспучена волнами — шлак когда-то вытек и застыл. Ни куста, ни бочки, и полторы сотни шагов до первой ямы: я прикинул дважды.

Левую руку я поднял, и все остановились.

Вой оборвался, и тишина после него была неправильная. Такая тишина врёт. Я слушал долго, дольше, чем надо: цеха за спиной, пустошь, опять цеха. В цехах капало где-то далеко и редко. На пустоши не было ничего — ни ветра в железе, ни птицы. Так бывает в цехе, когда пускают воздух: он уже пошёл, а звука ещё нет.

Кузьма подошёл сзади и стал рядом. Челюсть у него ходила, хотя за щекой было пусто: сушёная кожа кончилась у него вчера, я сам видел, как он последний обрезок разжевал у бочек и глотал долго.

— Юрий Аркадьевич. — Он подвигал челюстью. — А если краем?

— Каким краем?

— По развалинам. Вон, влево, вдоль отвала, и там низом. Дольше выйдет, я не спорю. Зато у тебя всё время стена под правой рукой.

— На час дольше, — сказал Тимофей.

— На час, ну и час.

— На полтора, — сказал Игнат.

— Ты сядешь три раза, вот и полтора, — сказал Тимофей.
— Кузьма, у нас в частокоче двадцать два человека, и половина не знает, что тут четыре голоса. Про клеймо я вообще молчу. Мы им сегодня скажем или завтра?

— Сегодня.

— Значит, идём прямо.

— Там Данила за старшего остался, — сказал Кузьма. — Он к вечеру посты по-своему переставит, вот увидишь.

— Пусть переставляет.

Кузьма опять подвигал челюстью и переложил мешок под правую руку. Мешок был увязан в две петли, узел он проверял ещё утром.

— Я к тому, что мы с Ерофеем и так день потеряли, — сказал он. — Мне до Балки двое суток, а я ещё тут стою.

— Про это я тебе отдельно скажу, — сказал Тимофей.

— Скажи. Только я на вой повернул не сам. Ерофей стал и стоит, а я с одной рукой его на себе не понесу.

— Я стал, — сказал Ерофей. — Оно завывало, я и стал. Ты сам сказал: наши там.

— Наши там, — согласился Кузьма.

Игнат поставил левую на всю подошву, подержал и опять поднял на носок.

— Три дня, — сказал он. — Я утром сказал — три, и я при своём. Они собираются, когда сходятся голоса. Постоят день-два и пойдут.

— Ты это где брал? — сказал Сажин.

— На кордоне. У переезда так собаки шли, только у них два голоса было.

— Тут четыре.

— Тут четыре, — сказал Игнат.

Он не стал ждать, пока я скажу своё. Переложил вес на здоровую и шагнул на открытое первым, палкой пробуя землю перед собой.

— Цепью, — сказал я. — Десять шагов. Тимофей Игнатьевич за ним, потом Кузьма, потом Ерофей, потом Сажин. Я последним.

— Я привык идти впереди, — сказал Сажин.

— Здесь всё видно.

Он не спорил. Пошёл и на четвёртом шаге присел, подтянул проволоку на подошве — Тимофей дал ему её у спуска, три оборота, и портянку Сажин подложил ту самую.

— Режет, — сказал он.

— К вечеру дойдёшь.

— Дойти-то дойду. Подошва у меня вторая за год.

Лом я нёс левой у середины, а нож с изоляцией давил в

хребет, и я его переложил. Голень дёргала через шаг, и я опять стал считать.

Ерофей шёл впереди меня и через каждые двадцать-тридцать шагов трогал пояс под ватником — ладонью, сверху вниз, и убирал руку.

Гребень из спёкшегося шлака шёл поперёк пустоши, невысокий, мне по колено, и цепь наша перешла его по одному, каждый на своём месте.

Оно поднялось из складки за гребнем.

Не выбежало. Оно там лежало плоско, вжавшись, и стало подниматься с земли медленно, спиной вперёд. Я успел подумать, что мы шли на него шагов сорок и никто его не увидел.

Оно было длиннее собак и уже. Шкура в рубцах поперёк, рубцы старые, затянувшиеся белым. А на груди, ниже горла, стоял тёмный круг с ободком, и в ободке — птица о двух головах.

— Стой! — сказал Тимофей.

Оно не пошло сразу. Оно стало и повело головой по цепи — слева направо, от Игната к Тимофею, от Тимофея к Кузьме, и на Кузьме задержалось, и дальше, на Ерофея, на Сажина, на меня. Я стоял последним и видел всех шестерых сразу, и видел, как эта морда идёт по нам сверху вниз, будто считает.

Потом оно вернулось к Игнату.

Игнат стоял, отставив левую на носок, и палку выставил

вперёд, и палка у него дрожала книзу.

Оно прыгнуло на него.

Не зубами начало — весом. Ударило грудью, и Игнат ушёл спиной в шлак, и палка вылетела, стукнув о камень дважды. Оно придавило его лапой в грудь и взяло пастью низом, за голень. За ту самую, левую, где швы Аглаи и где штанина темнела всю дорогу от литейного.

Игнат крикнул коротко и осёкся, и дальше только хрипел через зубы.

— Оно его выбрало, — сказал я вслух, никому.

Тимофей пошёл на него, крича без слов, разворачиваясь на левой пятке через шаг, а топор держал в левой. Сажин обошёл слева и ткнул пикой в бок, под пластину, и пика вошла на ладонь и стала, и он налёг на неё всем телом и не дал дожать захват.

Оно рвануло головой. Игнат поехал по шлаку на спине шага на полтора, и держался за лапу у себя на груди обеими руками, и упирался, и пальцы у него были белые.

— Кузьма, к бедру ему! Выше колена жми! — крикнул Тимофей.

— Я одной! — Кузьма стоял с мешком под правой. — Куда мне мешок?

— Брось!

— Тут порох. Фунта не будет, а всё порох.

— Брось, тебе говорят!

Он положил его — не бросил, положил, — на гребень,

донцем вниз, и пошёл боком, приставляя ногу.

С ломом в левой я успел за эти шаги попробовать ещё раз. Поднял ладонь, как у поворота, и потянул в себя. Внутри, под правым ребром, было гладко и глухо, как и в цехе, и ничего там не подобралось, и я опустил руку и перехватил лом ниже.

Ударил Тимофей — топор с зазубриной пошёл по пластине, соскользнул вбок, в шлак, и от камня брызнула искра.

— Жёсткое сверху! — сказал Сажин. Он висел на пике, и голос у него шёл через зубы. — Юрий Аркадьевич, оно наверху жёсткое, я на боку стою!

— Держи, где стоишь.

— Я и держу.

Ерофей стоял у гребня, где мешок, и не двигался.

— Ерофей!

— Иду, — сказал он и пошёл, и на ходу опять прошёлся рукой по поясу.

Оно перехватило: отпустило голень и взяло выше, у самого шва, и в этот раз я услышал, как оно взяло — коротко и глухо, через ватник и рубаху. Игнат больше не кричал. Он открыл рот и не кричал, и рука у него сошла с лапы.

Тимофей ударил второй раз по морде, сбоку, обухом. Обух взял по щеке, и голова у него ушла в сторону, и оно на миг разжало хватку.

— Ещё! — сказал Сажин.

Тимофей не стал ещё обухом. Он переложил топор —

я видел, как он его перевернул в левой, коротко, большим пальцем по обуху, — и ударил лезвием в шею, сбоку, снизу вверх. Взмах был короткий, от локтя, без замаха над головой. Так колют чурку, когда её уже надкололи и осталось добить, — он этой рукой двадцать лет колол.

Топор вошёл и стал. Из-под него пошло тёмное, почти чёрное, густое, полилось ровно, без толчков, и потекло по пластинам вниз.

И оно всё равно потянулось.

Передней лапой, той, что была на груди у Игната, оно повело вперёд и вбок — к ноге Тимофея. Потянулось длинно, доставая, и когти прошли по шлаку с шорохом.

— У него не убывает, — сказал я.

— Чего?

— Ничего. Бей ниже.

Тимофей выдернул топор — двумя приёмами, шатнув, потому что зазубрина за что-то зацепилась внутри, — и ударил третий раз. Пониже, между рёбер. Целил он сам, я ему не показывал, и вошло всё целиком, до топорщища.

Оно легло сразу, боком, и лапа, которая тянулась, дошла до конца и осталась вытянутой, и больше уже не двинулась. Пластины на хребте стукнули о камень.

Кузьму оно к этому времени уже отбросило. Он подходил к бедру, как ему и сказали, и с первого маха его достало в плечо — в то самое, где перевязка, — и он ушёл спиной на гребень, где лежал его мешок. Мешок он не задел. Теперь он

поднимался: встал на колено, с колена на ступню, и по подбородку у него шло красное — губа была разбита изнутри, и он сплюнул и потрогал её языком.

— Мешок целый? — сказал он.

— Целый, — сказал Ерофей.

— Я на него не сел?

— Не сел ты на него.

Ерофей с Сажиным уже волокли Игната в сторону, к кладке, взяв под руки, и нога у Игната волочилась по шлаку, и он на этой дороге ни слова не сказал. Ерофей разорвал на себе рубаху — рванул от подола, зубами прихватив, — и подвёл полосу выше колена, и стал крутить обломком палки, той, что Игнат брал у бочек.

— Выше, — сказал Сажин. — Выше берёшь.

— Я и беру выше.

— Ты по швам берёшь, а швы там.

— Мне швы твои сейчас не швы.

Кузьма стоял над тушей и смотрел не туда, куда все.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он. — А это что у неё?

Рана на груди раскрылась, когда оно легло, — там, где стояло клеймо. Шкура разошлась по старому шраму, и в мясе, в глубине, было видно железо.

Не кость. Короткий стержень, вершка в полтора, с гранёным навершием, и грани забиты тёмным давно, не сегодняшним.

И над ним дрожал воздух.

Так дрожит над раскалённым листом, когда дальний край плывёт. Только день был пасмурный, и железо в мясе было холодное, а плыло.

— Не лезь пальцем, — сказал я.

— Я и не лезу.

Рядом я опустил ся со второго раза: голень не пустила, я сел на бедро и оттуда подтянул колено.

Потом поднял левую и потянулся к стержню.

Я делал это, как делал у линзы, как делал во дворе с рябью: находишь в себе то место справа от сердца и берёшь им, будто кладёшь руку на прикипевшую гайку и пробуешь, поддастся ли она. Пальцы у меня в воздухе шли к железу, а внутри я искал место.

Соскользнуло.

Не в руке — рука до стержня и не дошла. Внутри. Ход был знакомый, тот же, и он пошёл вхолостую, как ключ, который встал на грань и провернулся, ничего не свернув. Будто с той стороны заперто, и заперто не мной.

Руку я убрал и посмотрел на неё.

— Ты его брать хочешь? — сказал Кузьма. Он всё трогал губу. — Так я топором подрежу. Тимофей Игнатьевич даст.

— Стой где стоишь.

— Стою.

Начал заново, медленно. Смотрел на рябь, на то, как она держится над наверхишем и не идёт вбок. Так меня учили смотреть на слабое место: глазом его не выищешь, надо

ждать, пока само покажется.

Внутри было гладко.

Потянулся ещё раз, ровнее, и досчитал про себя до пяти.

— Ерофей, — сказал Тимофей от Игната. — Ты крути, крути, не держи.

— Кручу.

— Он у тебя ослаб.

— Он у меня не ослаб, он у меня в палку упёрся.

Игнат сказал что-то, и я не разобрал.

Рябь над стержнем стояла как стояла.

Я стал в третий раз.

Тянуть уже не стал, сидел и смотрел, как смотрел бы на манометр, у которого стрелка ходит не в такт: не торопить, дожждаться, пока сама покажет. Рябь над навершием шла узко, в две грани шириной, и книзу, к мясу, её не было вовсе. Значит, держится за верх. Значит, и брать надо за верх, а не всё.

И оттуда, изнутри, справа от сердца, пошло.

Не как у линзы. У линзы дёрнуло и высушило, и после я не мог встать. Тут холод вышел из груди широко и разом, будто вместо капельного крана отвернули задвижку в палец, и пошёл по плечу, по локтю, в кисть. Ладонь я держал раскрытой, и на середине ладони стало горячо в одну точку. Стержень под пальцами сел в себя, просыпался внутрь, как крошится сухарь, если сжать. Гранёного навершия не стало. Ряби не стало.

Ладонь жгло. Я перевернул её и посмотрел: поперёк, у основания пальцев, шла полоса в ноготь шириной, белая по краю, и кожа на ней стянулась.

А внутри не было ни жара, ни картинок.

Было тягуче. Так наливается рука, когда долго держишь на весу что-то тяжёлое и потом опускаешь: тяжесть без боли. И вместе с этим я понял, что тело моё сейчас выдержит больше, чем выдерживало, пока я тут сидел на щебне и принаравливался к этому стержню. Не быстрее и не сильнее в руке. Дольше.

Я поднял голову.

Кузьма стоял, где ему было сказано, и жевал пустое — полоска у него кончилась третьего дня, а челюсть всё ходила. Он смотрел мне на ладонь и ничего не понимал. Ерофей сидел над ногой Игната, спиной ко мне, и крутил жгут.

И мне захотелось, чтобы кто-нибудь глянул сейчас как надо. Не Кузьма, а Тимофей чтобы глянул. Или Сажин.

Головы я к ним даже не повернул, сидел и ждал, и ладонь всё жгло.

— Юрий Аркадьевич, — сказал Ерофей. — Час он у меня продержит. За час я ручаюсь.

Встал я со второго раза, опершись о щебень правой, и ожог тут же отозвался.

— А дольше?

— Дольше не ручаюсь. — Он подвёл палку под последний оборот и завёл её за жгут. — Кровь идёт не струёй, она со-

чится. Рваное так и сочится, оно не запирается. До частокола идти дольше часа, вы сами знаете.

— Знаю. Патроны целы?

— Шесть в ружьях, пять к дробовику. Ни одного не ло-
мали.

— Я к тому говорю, чтоб потом не было, что Хорь наврал. Игнат сидел и глядел в сторону цехов, не на ногу.

— Ты его послабее, — сказал он.

— Послабее — это тебе не жгут, а подвязка.

— Он мне ступню отжимает.

— Ступня твоя мне сейчас последнее дело.

Подошёл Тимофей, присел на левую и взял Игната под
мышки. Игнат ухватил его за воротник. Тимофей потянул,
скривился всем лицом и стал разворачиваться на левой пят-
ке, оседая: правое колено у него второй месяц не гнётся.

— Тяжёлый, — сказал он. — В тебе пуда три с половиной.

— Четыре с лишним.

— Три с половиной, я на глаз вешу.

— Ты меня в бане вешал?

— Я мешки вешаю сорок лет.

Сажин у туши сидел на корточках с ножом. Он потрогал
большим пальцем шрам под губой, потом отвернул шкуру у
самого клейма и повёл лезвием кругом, широко, не жалея.
Снял лоскут с клеймом, стряхнул с него шерсть, обтёр о ще-
бень и завернул в тряпицу — в ту, что лежала у меня за па-
зухой с двумя прежними. Он её у меня взял молча и молча

вернул, уже с третьим.

— Третий, — сказал он.

— Третий.

Я тронул пазуху левой.

— Пошли, — сказал я.

Тимофей поднял Игната на плечо, я подставился с другой стороны, и мы пошли — а надо было раньше.

Прошли шагов восемь, и Игнат, вися между нами, на каждом шаге охал в воротник.

Потом из цехов, из глубины, из-за третьего пролёта, поднялся вой.

Один повёл, на него легли остальные, и я стал считать и на шести бросил, потому что голосов было больше, чем я успевал класть на пальцы. Вой не оборвался. Он держался, в нём всё прибавлялось, и он шёл сюда.

Глава 4. Второе дыхание

Бежать с ним на плече нельзя было, и мы пошли шагом, но быстрым.

Я держал Игната под правой подмышкой, Тимофей под левой, Игнат обвис у нас на руках и шаг за шагом хватал воздух ртом у моего воротника. Через полсотни шагов Тимофей стал сдавать: колено у него не гнулось, он разворачивался бедром, и нас вело влево.

— Сажин, — сказал я.

Сажин подошёл и подставил плечо вместо Тимофея, а лом взял под свободную руку. Ростом он был на голову выше меня, и Игнат сразу поехал вбок, шагов десять мы шли враспорку, пока не подобрали высоту.

Тряпица у меня вылезла из-за пазухи, когда я поднимал Игната, и три лоскута упали на шлак. Сажин подобрал их и зажал в горсти, вместе с ломом.

— За пазуху мне суй, — сказал он потом. — Мне всё не удержать.

— В кулаке держи.

— Держу.

Вой шёл за нами и не приближался. Я слушал его на каждом четвёртом шаге и всё ждал, что он возьмёт ближе. Он держался ровно, всё на том же месте. Я оборачивался дважды, и Кузьма оборачивался всю дорогу, через шаг, боком,

с мешком под правой.

— Никого, — говорил он. — Юрий Аркадьевич, никого там.

— Иди.

— Я иду. Я к тому, что если они не идут, так чего мы бежим.

— Тимофей Игнатьевич, сколько до частокола?

— Двести с чем-то, — сказал Тимофей. Он шёл третьим и дышал ртом. — Двести двадцать было от гребня, мы сто прошли.

— Меняемся на сотне, — сказал я.

Игнат на этих словах поднял голову и сказал:

— Ерофей.

— Что?

— Ерофей мне ступню отжимает.

— Он тебе не ступню, он тебе кровь держит.

— Он мне палку не туда завёл.

Ерофей шёл сзади и слышал, но промолчал. Он и на пустоши так шёл — на своих двадцати шагах, и раз в двадцать шагов проверял что-то у себя под ватником, у пояса, и убирал руку. Я это второй день видел и молчал.

На западном углу частокола свистнули. Два коротких, потом один. Свистел кто-то из людей Сивоока — у наших свист другой.

Ворота из связанных досок пошли наружу раньше, чем мы дошли. Их толкнули двое, и створка встала косо, зацепив

землю нижним углом.

Первой выбежала Аглая. В руках у неё были тряпки — три или четыре, в скатке, — и фляга, и во фляге что-то болталось на дне.

Она обошла нас, наклонилась к ноге Игната и посмотрела на жгут — на палку, на оборот, на пальцы. Пальцы у него побелели.

— Сколько он под жгутом? — сказала она.

— Час, — сказал Ерофей. — Я за час ручался.

— Час с четвертью, — сказал Тимофей.

— В барак. Прямо в барак, за второй ряд коек. Кладите его, слышите? — Она выпрямилась. — На спину кладите. Он у вас сядет — я потом жгут снимать не смогу.

— Аглая Ильинична, там кровь сочится, не струёй, — сказал Ерофей.

— Я вижу, что сочится. В барак.

Они понесли его через ворота — Сажин, Тимофей и Ерофей, — и Аглая пошла рядом и на ходу обтирала руки о полу халата, хотя ничего ещё не трогала.

У створки я остался один.

Сивоок стоял в трёх шагах, у бочки, и смотрел, как нас пронесет мимо. На меня посмотрел последним. Оглядел робу, перевязь, ожог на ладони — я держал её открытой, потому что сжать не мог, — и голень, и лом у Сажина в руке. Задержался он на лоскутах. Сажин так и шёл с ними в кулаке, и клеймо на верхнем было наружу.

— Три, — сказал Сивоок.

— Три.

Больше он мне ничего не сказал, а повернулся и позвал:

— Митяй. Пахома с восточного сюда, на западный, и сам стань с ним. Ковригина с помоста не снимай, пусть сидит.

— Данила Гаврилыч, у Пахома на восточном Сенька один останется.

— Пусть один. — Сивоок дёрнул подбородком в сторону цехов, откуда оно шло. — Оттуда слушайте. Пары не разводите. Свистеть в три.

Митяй пошёл, оглянулся на меня, и я на него посмотрел, и он отвернулся.

Кузьма положил мешок на землю, донцем вниз, и стал осторожно трогать разбитую губу языком.

— Юрий Аркадьевич, — сказал он. — А я, значит, завтра пойду?

— Завтра, — сказал я. — С утра, как рассветёт. Не раньше.

— Так я и так с утра шёл, а вышло, что не шёл.

— Значит, второй раз выйдешь.

Он подобрал мешок и понёс его к бочкам, держа под правой рукой, и на ходу говорил сам с собой про узел.

В бараке было темнее, чем на дворе. За вторым рядом коек Аглая работала при своём огарке, и оттуда шло: «Держи под пятку. Под пятку, а не под голень». Игнат не отвечал.

Наш огарок стоял на банке. Я выложил лоскуты на стол,

все три, рядом, клеймами кверху, и подровнял их левой рукой. Стол качнулся — угол его сидит на кирпиче, и кирпич поехал. Тимофей подбил его ногой, не глядя.

— Ободок и птица, — сказал я. — На человеке, на том, что из литейного, и на этой. Одно и то же, только у этой растянута вбок, потому что шрам.

Сивоок нагнулся над столом, лоскуты не тронул. Постучал костяшками по рукояти ножа на поясе — три раза, коротко.

— Дальше.

— Оно пошло не на первого и не на ближнего, а повело головой по цепи и вернулось к Игнату, к тому, кто стоял на носке.

— На самого хромого, — сказал Тимофей.

— Да.

— И не бросилось сразу, — сказал Тимофей. — Оно стояло и глядело. Собака так не стоит, собака идёт с разбегу. Я их видел за ночь штук пять.

— Шесть, — сказал Сивоок.

— Пусть шесть.

— Дальше, — сказал Сивоок.

— В мясе у неё сидело железо. Стержень, вершка полтора, навершие гранёное. — Я положил ладонь на стол, кверху ожогом, потому что сжать её всё равно не мог. — Над ним дрожал воздух. День пасмурный, а дрожал.

— И?

— Я его взял. С третьей попытки. Первые два раза соскользнуло.

На ладонь он посмотрел, потом опять на лоскуты.

— Взял — это как?

— Его не стало, — сказал я. — Просыпался внутрь.

На это он только повёл плечом. За стеной у крана капало — через три счёта капля: пеньку никто не намотал восьмь суток.

— Вой, — сказал Тимофей. — Про вой скажи.

— Скажи ты, ты его считал.

— Я его начал считать, да бросил. — Тимофей сел на койку, вытянув правую: колено у него не гнётся второй месяц. — Юрий Аркадьевич до шести дошёл и перестал, и я тоже. Их там не одна и не две, и это только те, которые отозвались. Кто не отозвался, того я не считаю.

От стола он отошёл на шаг и опять постучал костяшками по рукояти.

— Тогда я спрошу прямо, — сказал он. — У нас проход к цехам открыт. Верхом по завалу, там, где Игнат тропу топтал. Мне туда двух человек ставить, а у меня их и так везде по одному стоит. — Стук. — Не проще завалить его камнем и забыть? Кладку у спуска сронить, там она сама держится на честном слове. Полдня работы, и нет прохода.

— Есть кладка, которую я сроню, — сказал Тимофей. — Только они не по нашей тропе ходят.

— Ты меня послушай, а потом говори. — Сивоок повер-

нулся ко мне. — Я двадцать восемь человек кормлю. Мне интерес один: чтоб они утром были.

— Цеха — единственное место, откуда мы про это что-то узнаем, — сказал я. — Больше нигде. Клеймо ставят по трафарету, через ткань, и ставят на людей и на зверей. Кто ставит и зачем — я не знаю. Осетров не скажет, Марфа не знает. Завалим проход — будем сидеть за досками и слушать, что оттуда идёт.

— Или не придёт.

— Или придёт с той стороны, где у нас один Сенька.

Челюстью он подвигал, как Кузьма, только за щекой у него на этот раз ничего не было.

— Складно говоришь, — сказал он. — На суде бы так говорил.

— Говорил.

Из угла, от кладки, где сидел Ерофей, сказали негромко:

— Данила Гаврилыч дело говорит.

Сидел он там всё это время молча, и я про него забыл. Теперь он поднялся, вышел на свет огарка и обтёр ладони одну о другую.

— Я не про то, чтоб завалить, — сказал он. — Заваливать-то зачем. Я про то, что их там больше, чем мы думали. Утром думали — четыре. Теперь шесть, а Тимофей Игнатьевич говорит, и не шесть. — Он помолчал. — Так, может, сперва частокол? У нас пролом досками зашит, верхняя ходит, помост на двух бочках, а средняя вовсе треснула. Иг-

нат Петрович лежит, Юрий Аркадьевич на ногу припадает. А вниз, в пролёты, и через неделю сойдём. Неделей позже — оно и вернее.

Тимофей кивнул. А рука у Ерофея, пока он говорил, прошла по поясу под ватником — сверху вниз, ладонью, — и убралась. Так же она ходила у него на пустоши, когда он стоял над мешком.

— Средняя доска, — сказал Тимофей. — Я про неё третий день говорю.

— Вечером перебьёшь.

— Вечером уже темно.

— Тогда с утра, — сказал я. — Вниз пойдём, когда Игнат встанет и я смогу держать лом правой. Не раньше.

— Разумно, — сказал Ерофей и сел обратно к кладке.

Сивоок ещё раз стукнул костяшками по ножу и вышел.

Снаружи он сказал Пахому что-то про воду, и Пахом хмуро ответил, что не его черёд.

Аглая шила Игната у второго ряда коек, при огарке. Сам я сидел у стены, где сложены доски, и ждал, пока это пройдёт. Оно не проходило.

Сперва я подумал, что от огарка тянет гарью, и вытер под носом рукой. На тыльной стороне ладони осталось тёмное, узкой полосой. Я обтёр её о штанину и вытер опять, и опять осталось тёмное. Кровь шла тонко, ровно, не толчками, и я её не почувствовал ни разу.

— Тимофей Игнатьевич, — сказал я. — Дай попить.

— Кружка на кирпиче.

Кружка Прохора стояла там, где он её поставил. Я взял её левой, потому что правая пятый день не жмёт, поднёс к рту — и она пошла в руке. Не выскользнула, а рука сама пошла, от кисти, мелко и часто. Я прижал локоть к боку, но это не помогло.

Кружка стукнула о доски и легла на бок.

Вода растеклась по полу и ушла в щели между досками, вся, за три счёта. Тёмная полоса осталась и стала светлеть с краёв.

— Это последняя, — сказал Тимофей от стола. Он не встал. — Первую я утром на Игната извёл, промывать. Осталась одна.

— Знаю.

— Ты не знаешь, ты скажи: одна.

— Одна.

Он подобрал кружку, поставил её на кирпич вверх дном и остался стоять над ней, глядя.

Аглая закончила швы и стала складывать лубок. Доски у нас были от сарая, и она выбрала две, приложила к голени, перемотала выше и ниже колена и подтянула зубами. Под ногтями у неё было чёрное, а средний ноготь обломан до мяса.

— Ступню чувствуешь? — сказала она Игнату.

— Жмёт.

— Пальцы чувствуешь, я спрашиваю.

— Жмёт, говорю.

Она надавила ему на большой палец и подождала, глядя.

— Розовеет, — сказала она. — Утром опять посмотрю.

Потом взяла тряпку, подошла и села рядом со мной на доски. Тряпку она сложила вчетверо, подала мне к носу и держала, пока я не взял сам, и не спросила ничего. Ни того, что я делал у туши, ни того, откуда идёт кровь.

— Голову не назад, — сказала она. — Вперёд наклони, а то в горло пойдёт.

— Помню.

— Помнишь, а сидел, задрал.

Она поменяла мне тряпку два раза, и второй раз — почти сухую.

Снаружи, у бочек, Сажин говорил Кузьме, что проволока на подошве села вбок и режет ему через портянку, и что портянка у него одна, и Кузьма отвечал, что ему завтра двое суток идти, а он ещё вчера должен был выйти, и что Марфа за потерянный день с них ещё возьмёт, и что он на это не подписывался. Они замолчали, и Сажин опять начал про портянку.

Ночь я пролежал в углу, лицом к кладке, и слышал каждый шаг по щебню снаружи.

Утром я не встал. Тимофей приходил дважды, а потом принёс кружку, воды в ней было на два пальца, и я выпил, держа её двумя руками, левой снизу и правой сверху.

К середине второго дня стало легче настолько, что я мог

считать капли за стеной.

И на каком-то счёте внутри у меня, справа от сердца, раздался смешок.

Короткий и сухой. Не надо мной.

«Дёшево не бывает, — сказала оно. — Но эта плата хоть окупится».

— Сколько окупится, — сказал я в кладку.

Оно молчало.

— Когда.

Ничего.

Я перевернулся на спину. У окна Аглая мыла руки над ведром, вода шла ей на пальцы тонкой струйкой, и она их тёрла долго, дольше, чем надо, хотя воды у нас всего одна канистра.

— Кровь больше не шла? — сказала она, не оборачиваясь.

— Не шла.

— Значит, к вечеру встанете.

К вечеру я встал, а во двор вышел только на третий день, к полудню.

Тимофей сидел у бочек и проверял узел на растяжке, хотя узел был его же, вчерашний.

— Камень мне найди, — сказал я. — Самый тяжёлый, какой у частокола есть.

Он поднял голову и хмыкнул, потом покачал головой и сказал:

— У нас на помосте средняя не перебита. Я тебе про неё

который день говорю.

— Перебьём.

— Камень тебе зачем.

— Померить надо.

— Что померить.

— Меня.

Поглядел он на мою правую руку, потом на левую, встал с бочки на левую ногу и пошёл за барак, к тому месту, где кладка выворочена. Вернулся не сразу и не с камнем. Он катил обломок плиты — по щебню, переваливая его с ребра на ребро, и на каждом перевале кричал. Обломок был в полдверцы, с арматурным огрызком из угла и с фаской по краю.

— Вот, — сказал он и сел. — Эту мы с Прохором Никитичем вдвоём на кладку ставили. По весне.

— Сколько в ней.

— Пудов пять. Может, с половиной.

— На глаз?

— Я мешки вешаю сорок лет.

Я обошёл её и присел на корточки. Взял её за низ, под фаску, левой у арматуры, правой плашмя — правая пятый день не жала, и я ею только придерживал. Прикинул: возьму от бедра, спину буду держать прямо, как учили брать кувалду.

Оторвал я её от земли легко.

Она пошла кверху так, будто в ней было пуда два, и я не поверил, подержал её у бедра и посчитал. Потом выпрямил

руки перед собой и держал ещё. На шестнадцати ладонь под ожогом дёрнуло, на двадцати я всё ещё стоял.

— Второе дыхание, — сказал Тимофей с бочки. — И то с запозданием.

Месяц назад я и половины этого не поднял бы от земли. А тут стоял и считал, и в голове само пошло: пять с половиной пудов, двадцать счётов, а если бы взять три пуда — сколько тогда, минуту? Две? и до какого веса он вообще встанет?

— Юрий Аркадьевич, — сказал Кузьма от бочек. Он подошёл и стал в стороне, двигая челюстью. — Ты её не на ногу.

— Стой, где стоишь.

— Я стою. Мне и уходить пора, я после полудня выйду. Марфа за день уже возьмёт, а за два...

Я рванул её выше — коротко, от груди, тем же приёмом, каким только что взял с земли.

Спину прострелило поперёк, ниже лопаток, налево. Руки сами разошлись. Плита ушла вниз, ударила углом в щебень в полшага от моей ступни и легла плашмя, и меня посадило на землю рядом с ней.

Я сидел и дышал ртом. В спине стояло горячее, и вдох упирался во что-то на середине.

— Сила силой, — сказал Тимофей. Он не встал и рук не подал. — А кости у тебя те же. И спина та же.

— Знаю.

— Знал бы — не дёргал.

Кузьма присел рядом на корточки и взял меня за правое

предплечье, повернул к свету.

— А это где?

Позавчера, у гребня, оно достало меня краем лапы поверх перевязи. Царапина была в три пальца и шла косо, наискось через мясо. Теперь на ней сидела корка и по краям кожа уже стянулась.

— Позавчера.

— Позавчера, — сказал Кузьма. Он подвигал челюстью и дёрнул углом губы — за все дни я такого у него не видел. — У меня такое неделю мокнет. Я вон об эту плиту руку задел, когда Тимофей Игнатьевич её катал, — он показал предплечье, синее в две ладони, — она у меня как синела, так и синее. Значит, не плита тут.

— Не плита, — сказал я.

Кузьма ещё посидел, потом пошёл к бочкам за мешком и уже по дороге сказал, что узел он перевяжет в третий раз, и что Ерофей с ним теперь не идёт.

Ерофей стоял у дальнего края частокола — отошёл, пока все смотрели на плиту, — и говорил с тем, кто пришёл от Векшина. Стояли близко, и Ерофей опять держал руку у пояса под ватником. Тот кивнул, и он пошёл обратно, будто ходил глядеть кладку.

Я упёрся правой рукой в щебень и стал медленно подниматься.

С восточного края свистнули — два раза, потом три, и Пахом закричал в голос:

— Идут! С цехов идут!

Я наконец встал и увидел: они шли по пустоши, десятком, ровным строем, держа шаг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.